

ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ

## МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ТАЙНА ПОЭТА

*Не ты ль так плачешь в небе,  
Отчалившая Русь?*

С. Есенин, “Иорданская  
голубица”, 1918 г.,  
с. Константиново

Обращаясь к имени великого национального русского поэта, мы с горечью и растерянностью можем сказать, что Сергей Александрович Есенин нами далеко еще не разгадан, впрочем, как и вся трагическая плеяда “новокрестьянских” поэтов, — этот святой ореол праведников и мучеников, обрамлявших собою и есенинскую судьбу.

“Новокрестьянцы”, возникнув как бы ниоткуда, — из самой глубины народной, как калики — вестники грядущего Апокалипсиса, явились вдруг и погибли один за другим, подсечённые под корень чужой, вненациональной, жестокой волей. А. Ганин, С. Клычков, Н. Клюев, П. Орешин, П. Васильев — все они были беспощадно уничтожены. В чередё этого чёрного мартиролога просвета нет, и гибель Есенина видится однозначно: его, безусловно, изжили, и вопрос остаётся — как и кто? Вопрос не праздный, хотя и не для нашего уже суда. . .

Но как, откуда, почему он возник, этот внезапный, как взрыв, выплеск иной, никем не ожидаемой культуры, который “патрицианская” поэзия “серебряного” века восприняла, в общем-то, как ярмарочный балаган: только самые пронизательные из “патрициев” почувствовали, что имеют дело с чем-то большим, гораздо более серьезным даже, нежели они сами (см. переписку Блока с Клюевым).

Характерна и внешняя “встреча” представителей двух культур: “Толстые дамы лорнировали его (Есенина) в умилении, и стоило ему только произнести с ударением на “о” “корова” или “сенокос”, чтобы все пришли в шумный восторг. — “Повторите как вы сказали: ко-ро-ва? Нет, это замечательно!..” — А Сергей, улыбочиво и терпеливо мигая глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: “Чего они не поняли?..” В обращении с теми, кого он тогда еще не думал и не хотел называть “чужим и хохочущим сбродом”, была в Сергее какая-то укладливая вежливость, патриархальная крестьянская благовоспитанность” (В. Чернявский “Первые шаги”).

Этот феномен выхода “низовой” культуры в сферы “верхней” едва ли не единственный в мировой литературе (Никитин и Кольцов в этой ситуации — лишь предвестники), — никогда не будет разгадан без подробного анализа

самой крестьянской культуры, её обрядно-календарного оснащения, без понимания, что и само крестьянское православие – это сложнейший комплекс наложения христианства на то, что неверно назвали язычеством; без понимания, что и наша современная фольклористика, этнография и история, порождённые опять-таки “патрицианскими” хождениями в народ, – зашли в тупик.

Утилизированные обломки национальной культуры, ставшие ныне докторскими диссертациями, где все перепутано, где полностью разобщены миф, обряд и язык; где миф производится из обряда, а иногда наоборот, где и сказка трактуется как вульгаризированный миф; где громадный мифологический свод (двадцать томов по пятьдесят листов) русских старин, нелепо определённый как средневековый эпос, ещё и наполовину и не издан; где загадка зеркально совпадающих обрядов похорон и свадьбы так и остается на уровне национальной прихоти; где древнейшие обряды Коляды, Проводов Стрелы, Семика и т. д. считаются заимствованными у латинян, где понятия “изба”, “двор”, “поле” и пр. всё так же семантизируются на уровне прошлого века; где удивительный русский орнамент, глубоко сакральный по сути, считается заимствованным у финно-угров; где так и не прочитана семантика покроя мужской сорочки, женского сарафана с отстегивающимися рукавами, “смертной одежи”, рушника, рукотёрта, убруса, скатерти и т. д.; где изумительный банный обряд и обряд масленичного кулачного боя и не считаясь обрядами; где только что появившиеся областные словари Новгородчины и Пскова, перенасыщенные древнейшими индоевропейскими основами, так и остаются словарями “диалектными”, где докириллическое слоговое письмо (сотни текстов), уже прочитанное и опубликованное, категорически не принимается к сведению; где изумительная “Влесова книга” (книга мифов!) совершенно однозначно считается фальсификатом и т. д. и т. п., – в этой ситуации обращение к “официальной” науке становится бессмысленным.

А ссылки на современные “самодеятельные” или, точнее, “апокрифические” исследования, ввиду их “ненормализованного” состояния, остаются привычно необубедительными.

Однако без знания национальной культуры нам никогда не понять трагической вспышки апокалиптических видений “новокрестьянцев”, в том числе Есенина, – вспышки, может быть, последней на русском поэтическом небосклоне. Ведь это была не прихоть “представителей” определенной среды, не социологизированная идея сопротивления старого – новому, это было глубинное эсхатологическое восчувствование катастрофы Родного в пределах именно необозначенного национального мифостадиала, который для нас и сейчас остается за семью печатями заботами официальной науки.

А Есенин в “Ключах Марии” еще в 1918 году упрекал: “Если б хоть кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужицкую правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих, из храма, как хулителей на св. духа.

При жизни “новокрестьянцев” их творческий метод определялся то как “мистическая сущность крестьянства” (М. Горький), то как “сказочность” (Б. Пастернак), то как “толстовская идеализация” (Д. Мережковский), то как “ржаное апостольство” (В. Князев), то просто как “идеализация прошлого” (О. Бескин), то даже как “вид классово-борьбы” (Е. Усиевич).

Сегодняшнее литературоведение, кое-как наладив взаимоотношения с “новокрестьянцами” и Есениным (А. Михайлов, В. Базанов, А. Марченко, Н. Солнцева, Н. Неженец и др.), в принципе, все так же далеко от понимания внутренней сущности этого явления по причинам уже перечисленным. Хотя: “А может быть (это) обломок древней экологической культуры... воспоминание об утраченном знании, к которому Есенин, благодаря своему феноменальному инстинкту, каким-то чудом оказался причастным?” (А. Марченко А. “Поэтический мир Есенина”. М., 1972 – об одном из отрывков поэмы “Преображение”).

Этот полувопрос, на который нынче нет ответа, как раз характеризует печальное состояние изученности (вернее, неизученности) национального мифосубстрата.

А он обширен, сложен, многотрадиционен. Только выявленных мифологических систем, довольно далеко отстоящих друг от друга, – не менее трёх. Одна из них (северорусская) – совершенно автономна, и лишь в самых архаических моментах (система Дюка-Чурилы) смыкается с ранневедической

(система Дакши-Бхараты). Другая, центральнорусская неожиданно близка с древнеегипетской и раннебиблейской.

Апокрифические исследования (к сожалению, имена авторов ничего читателю пока не дадут) выстраивают огромный национальный Пантеон, связный и стройный, событийные движения которого происходят в строгом порядке, в последовательности, адекватной всем остальным мировым мифостадиалам. Всё это продублировано календарными обрядами, где любой годовой круг повторяет собою и общий – мифологический. Каждый же локальный обряд (свадьба, похороны) сам, в свою очередь, в строгом порядке следует этой неписаной последовательности, равно, как и трудовые обряды (земледельческий, ткацкий). Труд, кстати, это обряд. Всё это пронизано сложнейшей знаковой системой, начиная от архитектуры избы, композиции двора, кончая традиционными предметами быта: прялками, вальками, конской упряжью, ткацким станом, колыбелью, саями и пр., включая орнаменты и покрой одежды, головных уборов и т. д. А сцементировано всё это – языком, Словом. Откуда совершенно очевиден вывод, что язык, миф, обряд и знаковая система – единоисходны и равнопроистекаемы, а мифостадиальное запечатление мира восходит в глубины едва ли не изначальные. Такова была великая крестьянская культура, и Есенин всё это прекрасно понимал:

“Вытирая лицо свое о холст с изображением древа, наш народ не молчит о том, что он не забыл тайну древних отцов” (“Ключи Марии”).

Есенин, до 17 лет проживший в деревне, смог запечатлеть не менее десяти годовых календарно-обрядных циклов, – этого было достаточно для уверенной и окончательной инициации в крестьянскую мифостадиальную культуру, которой он будет сознательно и бессознательно служить всю оставшуюся жизнь.

Надо сказать, что крестьянская культура была, в общем-то, самодостаточна. Она прекрасно исполняла собственное предназначение, и литература, как таковая, была ей не нужна. Литература не являлась тем обрядом, который мог бы в чём-то дополнить главную мифостадиальную задачу: сохранение Памяти Вида. (Это задача всех мировых мифосистем.) Понятие “писанное” сакрализовалось лишь в собственном изначальном его значении, как нечто, канонизирующее бытие. Крестьянин, входя в литературу, относился к книге не как к предмету труда, но как к богоданному деянию. (Потому-то у большинства “новокрестьянцев” и названия собственных книг были произвольно мифологичны: “Радунца”, “Голубень”, “Преображение”, “Сельский часослов” и т. д. – у Есенина; “Братские песни”, “Мирские думы”, “Песнослов” – у Клюева; “Песни”, “Дубравна” – у Клычкова, и т. д.)

Книга – знак, книга – обряд, книга – весть...

Без всего этого невозможно до конца понять и личный Апокалипсис Есенина, и то, почему судьба поэтического гения и судьба Родины на историческом переломе слились на мифологическом уровне так нераздельно, что это без натяжки можно обозначить двумя условными параллелями:

Россия: Родное – Преображенное – Поруганное – Смертное.

Есенин: “Радунца” – “Инония” – “Москва кабацкая” – “Чёрный человек”.

Вехи весьма упрощенные, приблизительные, но совпадение разительное. И тайна может быть выявлена только на равном мифоэпическом уровне, без погружений в бытовые частности краткой и мучительной жизни поэта, которыми так переполнены и самые свежие исследования, – всегда имея в виду, что поэт – это прежде всего его Слово, а у Есенина еще и Слово-миф о Родине:

*И мыслил и читал я  
По библии ветров,  
И пас со мной Исайя  
Моих золотых коров.*

(“О пашни, пашни, пашни...”, 1918 г.)

## Родное

Есенин счастливо начинался там, где Сущее открывалось и озвучивалось в полной гармонии Мира и Слова, в глубинной русской среде народа-мифоносителя, издавна и глубоко освоившего руками и душой пространство обитания. Воспитанный не отцом-матерью, а, волею судьбы, – предположением, дедом-бабкой, он избежал в детстве избыточного “обмирщевания”, как гово-

рили, восприняв неразрушенное древнее мировосчувствование через духовные книги деда, песни бабки, причеты и речитативы часто гостивших у них монахов, калик переходящих, богомазов.

“Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по сёлам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого” (Автобиография 1924 г.).

Уже невозможно сейчас воссоздать, что мог слышать Есенин, посвящаясь в “русскость”, но, судя по его стихам, это посвящение было и всецельным, и всеполным:

*Льётся пламя в бездну зренья,  
В сердце радость детских снов,  
Я поверил от рожденья  
В богородицын покров.*  
(“Чую радуницу божью...”, 1914 г.)

Здесь совершенно замечательно то, что Есениным выделен главный мифостадиальный абсолют – Богоматерь с животворным Покровом. Этот образ, отсеянный строгим национальным отбором из привнесенных символов христианского Пантеона, в свою очередь параллелен древнейшим символам Омелфы (из северорусской традиции) и Матерь-Сва (центральной), – вечным дарительницам жизни, прикрывающим землю водоносным покровом. (Кстати, и ранее христианство на Руси было Успенско-Покровным):

*Снеги, белые снеги —  
Покров моей родины.*  
(“Сельский часослов”, 1918 г.)

Покров в народной мифологической традиции предопределяет и пространство Николы, равно в той степени, в какой праздники, одноимённые этим символам, следуют друг за другом. Кстати, Есенин-поэт, и это характерно, начинается именно с цикла, посвящённого Миколе:

*В шапке облачного скола,  
В лапоточках, словно тень,  
Ходит милостник Микола  
Мимо сёл и деревень.*  
(“Микола”, 1913-1914 гг.)

Здесь чрезвычайно точно обозначен мифостадиальный статус Николы-зимнего, его облачная сущность, затенённость его мифопространства, что говорит о незапутанном, уверенном понимании Есениным народных символов.

Покров – защита, прикрытие жизни, а под ним – обязательный образ Родины, как долгого пути, дороги:

*Там в полях за синей гущей лога,  
В зелени озер,  
Пролегла песчаная дорога  
До сибирских гор.*  
(“В том краю, где жёлтая крапива”... 1915 г.)

Но Русь, кроме того, что это вековечная дорога под покровом, это еще и тягло-судьба:

*Чёрная, потом пропахшая выть,  
Как мне тебя не ласкать, не любить.*  
(“Чёрная, потом пропахшая выть...” 1914 г.)

Выть=доля=участь=судьба=тягло (а мифостадиально еще и житие, от – вить, повивать, то есть благословлять на жизнь, пеленать; запеленутый, упелен-Апполон и т. д.). Дорога же – это Черные Грязи Прародины, Тёплое Пятно человечества (Шахматов), земная утроба доброго бессолнечного Кисько

(“Влесова книга”), Комонезём — полоса нынешних чернозёмов — след мамонтовой фауны. Кроме того — это и мифостадиальный рай, древний золотой век человечества под облачным Покровом запелёнутого Светила. Но это и рай воочию:

*Гляну в поле, гляну в небо —  
И в полях и в небе рай.  
Снова тонет в копнах хлеба  
Незапаханный мой край.*

(“Гляну в поле, гляну в небо...” 1917 г.)

Как раз такие патриархальные моменты “пейзанской идиллии” или “мужицкого рая” и останавливали прежде всего внимание исследователей крестьянской культуры. Но грош цена была бы национальному мифостадиалу, являющемуся прежде всего эсхатологическим предупреждением Памяти Вида Человечества, если бы он фиксировался лишь на некой утопической мечте. Последовательность его (по апокрифическим разработкам) проста и сложна одновременно. Сложна прежде всего из-за непривычки доверять народной мифологической памяти. А последовательность такова: Долгое-Тёмное-Пространство-Прародина, затем два световых предупреждения-благовещения, далее — Новосолнечная катастрофа с Преображением мира, постепенное водоупокоение, связанное с понятием Успения, и вновь катастрофа с возвращением Долгого-Тёмного Пространства, то есть сходжение в Ад или Божий суд. Здесь не место расшифровывать реалии, скрытые под образами мифостадиала, единого для всех мировых мифосистем, в том числе и для русско-крестьянских традиций. Важно, что эта культура целиком помещала в себе эту Предупреждающую Память Вида, в том числе и обязательную для нее эсхатологичность, заключающуюся в вере в Конец Света, в христианской традиции связанной с явлением Антихриста:

*О сторона ковыльной пуши,  
Ты сердцу ровностью близка,  
Но и в твоей томится гуще  
Солончаковая тоска.*

(“За тёмной прядью перелесиц...” 1916 г.)

И нелепо думать, что эта “солончаковая тоска” — одна из настроенческих прихотей Есенина, — она исходит из самой сущности его постоянного мировосприятия, инициированного изначально в эсхатологическое предчувствие катастрофы:

*Чтоб прозвенеть в лазури  
Кольцом незримых трат.*

(“Прощай, родная пушка...” 1916 г.)

Или несколько позже:

*Клубит и пляшет дым болотный.  
Но и в кошме певучей тьмы  
Неизреченностью животной  
Напоены твои холмы.*

(“О край дождей и непогоды...” 1917 г.)

Все это целиком впитал в себя Есенин, пронес сквозь жизнь, постоянно сознавая, что национальная мифологическая тайна вот-вот исчезнет вместе с мифоносителем — русским крестьянином:

“Единственным расточительным и неряшливым, но всё же хранителем этой тайны была полуразбитая отхожим промыслом и заводами деревня. Мы не будем скрывать, что этот мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы, наши глаза застали, увы, вместе с расцветом на одре смерти. Он умирал, как выплеснутая волной на берег земли рыба... Мы стояли у смертного изголовья этой мистической песни человека”

(“Ключи Марии”).

Итак, Есенин входил в “верхнюю” культуру вооружённый неведомой для неё тайной, с мироощущением, которое им, хозяевам своей культуры, поднаторевшим в философии, мистике, теософии, казалось не сложнее песни жалеяки в руках лубочного пастушка на лугу.

“Соблазны культуры ничем еще не задели ясной души Рязанского Леля”, — бодро говорилось о первой книге поэта “Радуница” в едва ли не первой же рецензии на неё (З. Бухарева З., приложение к журналу “Нива”, 1916 г., № 5).

А ведь и впрямь, что можно с маху разглядеть, к примеру в этом:

*Край родной, поля, как святцы,  
Рощи в венчиках иконных...  
Я хотел бы затеряться  
В зеленях твоих стозвонных.*

(“Край родной...” (ранний вариант) 1916 г.)

Хотя здесь с необычайным чутьем Есенин расслышал общую семантику слов “поля” (от — пал=паленое=открыто-освещенное пространство) и “святцы” — месяцесловное перечисление святых, которые тоже, в принципе, связаны со светом (христианская традиция, в общем-то, почти абсолютно воспроизводит и общемифостадиальную).

Можно было бы поговорить ещё и о своеобразном цветовосприятии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, неведомом поэтам “верхней” культуры, где цвет не столько окрашенность, сколько конкретно-вещественное состояние (чему есть совершенно особые мифостадиальные причины). Или об атавистических, очень древних представлениях о сущности речи, слова, говорения. Но это темы уже специальных исследований. Хочется лишь подчеркнуть непростоту “новокрестьянцев”, которую, в общем-то, при жизни их никто и не разглядел.

А на пути в литературу их поджидали две опасности, это, собственно, сама литература (литературщина) и псевдонародность, то есть лубочный театр, в который их помещали охотно и с воодушевлением, в эти опереточные резервации “Красы” и “Скифов”. И никто из них, кроме разве чрезвычайно устойчивого С. Клычкова, не миновал этих соблазнов (даже и Есенин писал сонеты), — но это всё хорошо известно, как и то, что от этих соблазнов они худо-бедно отряхнулись. Страшнее, непонятнее было другое:

*О Русь, взмахни крылами,  
Поставь иную крепь!  
С иными именами  
Встает иная степь.*

(“О Русь, взмахни крылами...” 1917 г.)

Как годовой обрядо-календарный круг имитирует тысячелетний — мифостадиальный, так и человеческая жизнь (если она под Богом!) должна соответствовать Божьему закону (улогу — уложению).

Вот это глубинное понимание соответствий, в том числе и апокалиптических, обязанных быть событий и обрядов, обязанных сопровождать их, — и создало общий эсхатологический окрас поэзии “новокрестьянцев”, и Есенина в особенности, усугубленным предчувствием собственных судеб на фоне начавшегося не понятого и не страшного еще великого Преображения.

### Преображение

*9. И была сеча великая на много месяцев.  
Стократно побита Русь и стократно  
разбита*

*10. была от Полнощии — до Полудня...*

Влесова книга, дощечка 6 (реверс)

Предчувствие того, что грядет, уже давно мучило и волновало Есенина и крестьянскую купницу.

*Радуйтесь!  
Земля предстала  
Новой купели!  
Догорели  
Синие метели  
И земля потеряла  
Жало.  
(“Певущий зов”, 1917 г.)*

и еще более конкретно:

*Но вдруг огни сверкнули,  
Залаял медный груз.  
И пал, сражѐнный пулей,  
Младенец Иисус.  
(“Товарищ”, 1917 г.)*

Удивительно точное мифостадиальное восчувствование происходящего: гибель Иисуса, то есть Бога-хранителя – тела-Земли, адекватна народной памяти о Солнечной катастрофе, о земле распятой, то есть открытой Новосолнцу.

Блок, находившийся в последние годы своей жизни под достаточно заметным влиянием Клюева, поэму “Двенадцать” закончил тем, что “двенадцатиапостольный” разбой возглавил забрезживший образ Христа:

*В белом венчике из роз  
Впереди Иисус Христос.*

Но Блок был из другой, флуктуирующей, обломочной мифо-культуры, которая уже “забыла”, что мифостадиально – впереди обязательное безумие Бога-трикстера (дурака-убийцы), испепеляющее пиршество Палящей смерти. Кстати, Евангелия сохранили в сакрализованной форме довольно стройную систему Мирового Мифостадиала, которую Клюев, например, знал в совершенстве:

*Жильцы гробов, проснитесь! Близок страшный Суд!  
И Ангел-истребитель стоит у порога!  
(Сборник “Медный кит”, 1919 г.)*

В этом же сборнике в стихотворении “Я надену чёрную рубаху” Клюев приводит “девичью песенку во ржи”:

*Узкая полосынька  
Клинышком сошлась, —  
Не вовремя косынька  
На две расплелась.*

Это расплетение надвое нетронутой досель девичьей косы – как раз обряд, мифостадиально копирующий момент распятия Девы-земли при сватании (обряде паления Новосолнца). Удивительна всё же по своей выразительности эта древняя знакомая калька пресечения Пространств, адекватная распятию земли на две Дасуни (“Влесова книга”), перекрещенным рукам Иакова, благословляющего своих сыновей, “репью” на русских убрусах и Андреевскому кресту...

Послеоктябрьское время, весьма краткое, впрочем, предвещало в начале какое-то ещё не вполне внятно выраженное изменение мира со всеобщими надеждами на лучшее. Всколыхнулось и крестьянское мифосознание:

*Я иное узрел пришествие —  
Где не пляшет над правдой смерть...  
(“Инония”, 1918 г.)*

Смерть еще попляшет, и попляшет страшно, и над правдой, и над верой, но то ещё неведомо, лишь предчувствие, — главное — что-то струнулось, преобразилось. И Есенин сразу замышляет большую поэму “Сотворение мира”, — характерное название для мифоосвоения времени. Поэма эта в задуманном виде не состоялась, она распалась на отдельные “малые” поэмы: “Преображение”, “Иорданская голубица”, “Инония”, “Пантократор”, “Кобыльи корабли”, “Сорокоуст”. И характерно здесь то, что Есенин вышел в назначенный самому себе “пророческий” статус, который позволял ему вплотную приблизиться к мифостадиальной сущности происходящего:

*Не утрашуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, —  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Эти микропоэмы, которым как-то особенно не повезло в литературоведении (их обозначали как “орнаментальная поэзия”, как “заказ революции”, как “дерзкое экспериментаторство” и т. д.) — чрезвычайно интересны тем, что в них Есенин уже вполне сознательно применяет свое мифологическое мировоззрение как метод.

Все поэмы — совершенно прозрачное поэтическое воспроизведение главного сюжета всех мифологических сводок мира: Явление Новосолнца и Изменение мира. Этот сюжет главенствует и в “Ветхом завете”, и в “Псалтири”, и в “Ригведе”, и в “Махабхарате”, и в русском северном мифологическом своде старин (старина=стар-ень, звезда-пространство), и в промежуточном (христиано-языческом) своде духовных песен, и во “Влесовой книге”, и в отдельных песнях-балладах и т. д. и т. п. В принципе, всё это так же очевидно и у Есенина:

*Свят и мирен твой дар,  
Синь и песня в речах,  
И горит на плечах  
Необъемлемый шар!  
Закинь его в небо,  
Поставь на столпы!  
(“Отчарь”, 1917 г.)*

Конечно же это Оче-Оре, Отчарь, обновленный Чурило, сын отца-Солнца, такой знакомый мифостадиальный пришелец, явленный вдруг при сдвиге пространства (кстати, совершенно реального геоклиматического явления), недаром миф (Память Вида!) — восставший из чрева ледяной горы-матери, оказавшейся на востоке:

*И вывалится чрево  
Испепелить бразды —  
Но тот, кто мыслит девой,  
Взойдет в корабль звезды.  
(“Октоих”, авг. 1917 г.)*

В поэме “Пришествие” — откровенной вариации евангельской истории Христа, Есенин как бы уточняет и иные (крестьянско-языческие) понимания этого сюжета:

*Холмы поют о чуде,  
Про рай звенит песок.  
О верю, верю — будет  
Телиться твой восток.*

Да, все в пределах мифостадиальных реалий (коровьи образные параллели — весьма распространены в мифосистемах), потому и:



*Облаки лают,  
Ревет златозубая высь...  
Пою и зываю:  
Господи, отелись!  
(“Преображение”, 1917 г.)*

Этот шокировавший когда-то образ, в общем-то, вполне невинен, если рассматривать его опять через мифологическую проекцию: безумный пожар Новосолнца, так живописно запечатлённый, например, в некоторых псалмах, породил и страстную молитву-плач о перевоплощении зла – в добро, в дождь – отёл:

*За тучи тянется моя рука,  
Бурию шумит песнь.  
Небесного молока  
Даждь нам днесь.  
(“Преображение”, 1917 г.)*

Образ небесной коровы, у Есенина – “Телица-Русь”, особенно отчётливо представлен в египетской и ведической мифологиях, и – во “Влесовой книге”. Любопытны всё же истоки есенинских знаний, – они обширны и безупречны в последовательности стадий:

*О, веруй, небо вспенится,  
Как лай сверкнет волна.  
Над рощею оценится  
Златым щенком луна.*

Это тоже обязательная стадия водного успокоения Жара Новосолнца, которая точнее и полнее отражена в поэме “Иорданская голубица”:

*Буду тебе я молиться,  
Славить твою Иордань...  
Вот она, вот голубица,  
Севшая ветру на длань.  
(“Иорданская голубица”, 1918 г.)*

Но в течение периода успокоения Новосолнца наступает и постмифостадиальное переосмысливание того, старого досолнечного состояния. Потому-то и во всех верованиях так двойственно воспоминание о прошлом: это или утроба сырой тьмы, или успокоительный рай Божий:

*Проклинаю я дыханье Китежа  
И все лощины его дорог.  
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже  
Мы воздвигли себе чертог.  
(“Инония”, янв. 1918 г.)*

Китеж – это Авало-Китеш-Вара (др.-инд.) или так называемый “Поки-тешь-град”, то есть древнее покинутое состояние (Кисько “Влесовой книги”, Кичка некоторых волжских преданий: Сарынь-на-Кичку – возглас сакрально-предупреждающий о Новосолнце, явившемся над Кичкой), Хутынь, Катынь некоторых локальных славянских поверий, и т. д. Кстати, поэма “Инония” (от Ино – ень, то есть Иное Пространство, но не “Чудесный гость”, как трактуется порой) – вновь “прокручивает” общий стадиал Новосолнца, где вначале происходит обязательный сдвиг Пространства:

*До Египта раскорячу ноги,  
Раскую с вас подковы мук...  
В оба полюса снежнороги  
Вопьюся клещами рук.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Как уже говорилось, вначале, как обязательная стадия, подвижка Земли, пространства. В мифах оно “обеспечивалось” дремлющими и пробуждающимися хтоническими силами (подземными): Посейдон (греч.), бык-Бату (др. егип.), Бутман (сев.-русс.), Боровлень (“Влесова книга”) и т. д., вплоть до Би-Фэна (китайск.). После сдвига Пространства в провале Мать-горы на Востоке показывается голова Новосолнца:

*И в провал, степенный бездною,  
Чтобы мир весь слышал тот треск,  
Я главу свою власозвездную  
Просуну, как солнечный блеск.  
(“Инония”, 1918 г.)*

Кстати, вот как писал в “Ключах Марии” сам Есенин о хтонических мифосимволах русских поверий: “Гонители св. духа-мистицизма забыли, что в народе есть уже тайна о семи небесах, они осмеяли трёх китов, на которых держится, по народному представлению, земля, а того не поняли, что этим сказано то, что земля плывет, что ночь – это время, когда киты спускаются за пищей в глубину морскую, что день есть время продолжения пути по морю” – совершенно гениальное предупреждение “гонителям”!

В поэме “Пантократор” затихающая стихия мифостадиального Преображения, олицетворённая “красным конем” Новосолнца-новобытия, обращается в страстное пожелание:

*Сойди, явись нам, красный конь!  
Хвостом земле ты прицепись,  
С зари отчалься гривой.  
За эти тучи, эту высь  
Скачи к стране счастливой.  
(“Пантократор”, февраль 1919 г.)*

Но счастливой страны не будет. Мифостадиал, безупречно сработавший в тысячелетиях, не сработал в начинающейся российской действительности. И уже прозвучала у Есенина в самом конце этого удивительного, неразгаданного, мифостадиального цикла поэма мелодия “Чёрного человека” – горькая музыка раздвоения и обмана так много обещавшего мира:

*Чёрт бы взял тебя, скверный гость!  
Наша песня с тобой не сживётся.  
(“Сорокоуст”, авг. 1920 г.)*

### **Поруганное. Смертное**

*7. Не Божья земля та Русская и — не  
озирайтесь на неё, но не забывайте её, —  
там ведь*

*8. кровь наша лилась...*

Влесова книга. Дощечка 4 (аверс)

Мифостадиальные ожидания “новокрестьянцев” не сбывались, наоборот, творилось что-то антибожеское, сатанинское.

“...Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний”, – писал об этом времени А. Солженицын.

В 1918 году расстреляли крестные ходы в Харькове, Туле, Воронеже.

Прокатился кровавый красный террор в Петрограде.

В 1919 году разграбили и разогнали Чудов, Страстной, Ново-Спасский монастыри.

В 20-е годы потоплены в крови Тамбовское, Ишимское, Северо-Кавказское крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж.

В 1920 году расстреляли монахов Лебяжьей пустыни.

Есенин искал себе пристанище, укрытие от расстреливавшего мира. Древний гармоничный уклад, впитанный с детства, самоотверженный порыв

к Преображению обратился в беспощадно-пошлое надругательство. Рушились и вечные мироустои, а это значит, оставалась лишь собственная одинокая судьба, осиротевшая без духовной поддержки:

*Мир таинственный, мир мой древний,  
Ты, как ветер, затих и присел.  
Вот сдавили за шею деревню  
Каменные руки шоссе.  
(“Волчья гибель”, 1921 г.)*

“Всё поругано, продано, предано”, – писала Анна Ахматова примерно об этом же.

В 1922 году расстреляли 200 монахов в Предтеченском монастыре. В том же году погибли 8000 духовных лиц. В 1923 году 2000 священников свезены в Соловецкие лагеря. В 1924 году расстреляли 300 монахинь Покровского монастыря. Началось массовое “раскрестьянивание” России.

*Что-то всеми навеки утрачено.  
Май мой синий! Июнь голубой!  
Не с того ль так падит мертвечиной  
Над пропащею этой гульбой?*

Так постепенно рождалась “Москва кабацкая”, – собственно, уже “переложение” мифостадиальных ожиданий с пространства – на себя, на свою беспризорную судьбу. Эпохи крушения всегда оформляются статусом Трикстера, – шута, пропойцы, клоуна, забуддыги (Иван-Гостиный-Сын и голи кабацкие русских старин, немецкий Ойленшпигель, ведический Дурдьохана и пр.)... Но:

*Я давно мой край оставил,  
Где цветут луга и чащи.  
В городской и горькой славе  
Я хотел прожить пропащим.*

Нет, образ Трикстера, озорного гуляки “Москвы кабацкой” смог обмануть, да и то на время, лишь тех, кто, собственно, и хотел обмануться. “Москва кабацкая” на самом деле, кроме эпатажного названия да нескольких намёков, ничего от кабака не имела. Она несла в себе тонкую грусть и нежность к уходящему и несвершённому:

*Не хочу я лететь в зенит,  
Слишком многое телу надо.  
Что ж так имя твое звенит,  
Словно августовская прохлада.*

Это стихи, безусловно, золотого фонда русской поэзии, стихи пронзительной чистоты и печали.

И, собственно, на этом кончается есенинское мифотворчество, вернее, мифоподтверждение таинственной национальной загадки.

Ещё писались превосходные стихи. Ещё напишутся условно-декоративные “Персидские мотивы”, – опять-таки дань национальному мифологическому воспоминанию об “Индее богатой” (тому ж Беловодью сказочному). Забавна здесь озабоченность литературоведов тем, что Есенин никогда в Персии не бывал. А зачем, собственно, ему быть обязательно в Персии, если всю жизнь он “пребывал” в фантастическом русском фольклоре?

*До свиданья, пери, до свиданья,  
Пусть не смог я двери отпереть,  
Ты дала красивое страданье,  
Про тебя на родине мне петь.  
До свиданья, пери, до свиданья.*

(“В Хороссане есть такие двери...”, март 1925 г.)

Где-то через полгода последним эхом откликнется это “до свиданья” в его прощальном стихотворении. Эхолоалии пропетых мелодий вообще преследовали его под конец, — этими отзвуками словно бы окольцовывалась его судьба.

Растворённый собственной жизнью в тоске Родного, он погибал вместе с убиваемым Родным, и сам перетекал в Миф, утвердив его одним из удивительнейших в русской поэзии стихотворением: “Чёрный человек”:

*В декабре в той стране  
Снег до дьявола чист,  
И метели заводят  
Весёлые прялки...*

Страшный обман подлого и жестокого Времени поэт обернул на себя, и в этом беспощадном самобичевании он был зорок и точен:

*Чёрный человек  
Глядит на меня в упор,  
И глаза покрываются  
Голубой блевотой, —  
Словно хочет сказать мне,  
Что я жулик и вор,  
Так бесстыдно и нагло  
Обокрававший кого-то.*

Это как раз и был тот “аггелизм”, несостоявшийся метод, придуманный им с С. Клычковым (еще до имажинизма), метод самосжигающего образа (аггел — огненный ангел).

*Ах, положим, ошибся!  
Ведь нынче луна.  
Что же нужно ещё  
Напоенному дрёмой лирику?*

### Миф закончился...

*Иеремия, гл. 4.*

23. Смотрю на землю — и вот, она разорена и пуста, — на небеса, и нет на них света.

24. Смотрю на горы — и вот, они дрожат, и все холмы колеблются.

25. Смотрю — и вот, нет человека...

*“Влесова книга” (дощечка 1, аверс).*

2. ...И второе Ождение было, самих людей побив. Грехом покрыло

3. места те, пожрав и очесав их, людей повергая мечем...

4. И так сказано: Оре-оче, как мёртвый, ущербился под грехом.

5. И так погребены были родники эти.

Значение и роль Есенина огромны. Он постепенно приобретает рядом с Пушкиным его “равноапостольский” статус, символически запечатлевая **великий и таинственный грех раздвоения национальной культуры**, которая скрывала в себе великую общечеловеческую тайну Памяти Вида, едва не потерянную навеки.

Публикация Юлии Курдаковой.